

## Часть VI. ЛИТЕРАТУРА ПУТЕШЕСТВИЙ

Ю. Л. Троицкий (РГГУ, Москва)

### Точка зрения иностранца как дискурсивная позиция

Одним из условий компаративных исследований можно считать предварительное составление тезауруса понятий и определений, которые используются в данном исследовании.

Выделим три основных уровня или языка компаративного исследования:

1. «Наивная» (имплицитная) компаративистика, которая наиболее полно манифестируется в текстах иностранцев о чужих землях, когда описание наблюдаемой культуры осуществляется с помощью кодов собственной культурной среды (записки иностранцев о другой стране, письма и дневники путешественников, паломников, дипломатов, тревелогии).

Подобные тексты можно назвать компаративистским «наивом», хотя бы потому, что сциентистская составляющая не является в них доминирующей, если вообще присутствует. Разумеется, в Новое и Новейшее время подобные нарративы уже не столь наивны, и возможны разнообразные случаи авторской игры в «наив» и стилизаций.

Для точки зрения иностранца характерен дифференциал несовпадения культурных кодов, и, как следствие, ошибки в прагматической линии их повествований. Нарративы иностранцев позволяют носителю описываемой культуры отстраниться и тем самым по-иному увидеть собственную культурную ситуацию. Непонимание прагматики чужой культуры приводит к порождению в описаниях иностранцев фиктивной событийности, которая совсем не присуща описываемой культуре. Подобная «текстовая событийность» превращает повествования иностранцев в сложноустроенный компаративистский дискурс. Поскольку компаративистская оптика иностранца «вмонтирована» в самое сознание, полнее всего она явлена именно в его дискурсивных формах.

Господствующей риторической стратегией текстов «наивной компаративистики» является *метафорическая стратегия*, представляющая перевод «одной культуры на язык другой». Что касается дискурсивной стороны записок иностранцев о чужих землях, то это, как правило, нарративы по преимуществу, но с вкраплением компаратива. При этом метафорическая стратегия проявляется не в том, что тексты иностранцев полны метафор, но в том, что стратегия текстопорождения сама метафороподобна, т.е. соединяет в одном повествовании оппозиционные элементы «свое-чужое» в новые дескриптивные речевые формы тема-рематического типа.

Можно предположить, что сознание иностранца метафорично в том смысле, что в нем «склеиваются» не вербальные экспликации и

стоящие за ними ментальные структуры, а образные впечатления, с одной стороны, и ментальные имплицитные фреймы, составляющие ядро воспринимающей личности, с другой. Столкновение этих двух феноменов порождает метафороподобные суждения: если базовым механическим сопоставлением является оппозиция «свое-чужое» с ценностным маркированием «своего» или, напротив, «чужого», то в результате появляется ослабленное метафорическое высказывание. Если основой является равноправие сопоставляемых явлений, в этом случае есть шанс появления полноценной конструктивной метафоры. Причина этого – оппозиция содержательного противопоставления оценочному (ценностному) высказыванию. Характер этого соотношения может быть измерителем степени продуктивности смыслопорождения, характерного для точки зрения иностранца.

Вероятно, эволюция метафорической дискурсии имеет высшим проявлением метаболу, соединяющую разнообразные экспликативные явления в сложный ансамбль различных, но сплоченных единств.

Риски языка наивной компаративистики состоят, например, в буквальном понимании иностранцем некоторых «непрямых» выражений, особенно идиоматических. Неточность или неполнота перевода «с культуры на культуру», а также аксиологические акценты приводят к фактическим искажениям и ценностным абберрациям: своя культура, зачастую, выступает как «правильная», а наблюдаемая – как отклонение от нормы и более низкая в развитии.

2. Иной язык характерен для сравнительных исследований, в основе которых заложен принцип «общее/особенное» (инвариант/трансформации). В рамках этого языка ставится задача реконструировать инвариант сопоставляемых объектов и описать веер несовпадений. Возможные риски при компаративных изысканиях этого типа заключаются в том, что в качестве образца может быть взят один из сопоставляемых вариантов, что недопустимо как факт выведения метаязыка из одного из объектов описания.

3. Третий возможный язык – когда в качестве эпистемологического основания выбирается та или иная *теоретическая модель*. Историю человеческого общества можно описать через марксистскую формационную модель, через цивилизационные модели, или же какую-либо модель ментальных структур. Это зрелый метаязык, позволяющий достичь, в рамках избранной теоретической модели, целостной исторической картины. Другое дело, какова окажется цена этой целостности, так же как уровень имманентной противоречивости полученного описания.

Риски таких описаний могут заключаться в отрыве теоретической модели от эмпирического материала, что зачастую приводит к искажению этого материала в угоду избранному метаязыку (опасность вписывания исследовательских интенций в описываемый объект). Способом минимизации этого риска может стать изменение статуса теоретической модели – не императивная посылка, но гипотетическое предположение.

### Литература путешествий в колониальном контексте: проблемы и перспективы

С расширением европейской экспансии и созданием колониальных империй литература путешествий получила новый импульс развития. В Британии, начиная с конца XVIII в., всё большим читательским спросом пользуются труды путешественников, посетивших отдалённые страны Африки и Востока, при этом акцент с описания экзотического и живописного постепенно смещается в сторону точности и «научности». Смесь вымысла с реальностью, характерная, например, для «Робинзона Крузо» Дефо, к этому времени становится неприемлемой. Теперь литературный успех мог быть гарантирован только представлением «научных» фактов и практически важной информации.

Внимание публики к вопросам географии и антропологии не было праздным любопытством: неуклонный рост империи диктовал необходимость сбора сведений о природных ресурсах и населяющих её народах. Только детальное знание об отдалённых землях империи могло обеспечить эффективное управление разбросанными по планете территориями, наметить пути их освоения и в конечном счёте способствовать процветанию как колоний, так и Британии, лидера «цивилизованного мира».

В Британии XIX в. литература путешествий превратилась в важнейшее поле обсуждения и распространения основных идей имперского проекта. Рассматриваемая с этих позиций, литература путешествий предоставляет возможность исследования способов, посредством которых в колониальном контексте конструировались расовые, социальные и культурные различия, лежавшие в основе установления институтов имперского контроля.

Изучение литературы путешествий о территориях «вне Европы» долгое время находилось под сильнейшим воздействием концепции ориентализма Э. Саида и развившихся на её основе постколониальных исследований. В интерпретации Саида «ориентализм» выступает не в качестве «нейтральной» и «объективной» научной дисциплины, а как интеллектуальное средство обеспечения господства Запада над Востоком. По мнению Саида, знание о колониальных народах, создававшееся европейскими «специалистами» – прежде всего, путешественниками, – формировало представление о Востоке как о Другом и низшем по отношению к Западу. Оно обобщало население Востока в единый образ, приписывая ему негативные черты, что позволяло Европе, с одной стороны, осмысливать себя через отрицание этих характеристик, с другой стороны, – обосновывать собственное вмешательство во внутренние дела Востока и утверждать свое доминирование на его территориях.

Важнейшие положения концепции Саида, переосмысленные и уточнённые в ходе дискуссий, в том числе самим Саидом, легли в основу постколониальных исследований, сосредоточенных на критическом ана-

лизе производимого европейцами знания о «мире вне Европы». Конструирование так называемых «воображаемых географий» признаётся фундаментальным для имперского дискурса, а роль путешественников в его формировании – важнейшей. Исследователи подчеркивают взаимосвязь политик репрезентаций колониальных субъектов и культур с институтами экономического, административного и биомедицинского контроля.

Критике подверглось изображение Саидом колониального дискурса как однородного и фактически неизменного на протяжении нескольких веков. Современные исследователи отмечают значительно большую его вариативность. Так, П. Хьюм выявил воздействие на имперский дискурс колониальной ситуации, в рамках которой он производился, показав определённые политическим контекстом различия в изображении европейцами жителей Карибских островов.

Исследователи указывают на то, что отношения между колонизатором и колонизируемым вряд ли можно вписать в рамки одностороннего процесса, структурируемого жесткими бинарными оппозициями. Скорее, эти отношения представляют собой набор процессов «транскультурации», т.е. ряда речевых и прочих актов, в ходе которых «разнообразные культуры встречаются, приходят в столкновение, сцепляются между собой, то и дело вступая в крайне асимметричные отношения господства и подчинения» (Pratt M. L. *Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation*. L.-NY, 1992. P. 137). В этих процессах не только непрерывно меняются специфические значения определений «колонизатор» и «колонизируемый», но и сама граница между ними постоянно нарушается и проводится заново. Кроме того, ни один из силовых центров не может полностью контролировать и жёстко классифицировать все оси взаимодействий.

Сейчас признаётся, что «ориентализм» не является тем единым дискурсом, о котором говорил Саид, но, скорее, он состоит из разнообразных элементов, которые и утверждают, и противостоят доминирующим и прочим существующим дискурсам. В связи с этим всё чаще поднимается вопрос о необходимости исследования не только традиционного дискурса о Востоке, но и дискурсов, артикулируемых представителями политически и экономически маргинальных групп европейского общества, куда относят, например, женщин и инородцев.

*Г.-Р. А.-К. Гусейнов* (Дагестанский ГУ)

**Народы Дагестана  
в известиях русских путешественников XV-XVII вв.  
культурные тропы и этноисторический контекст**

Дагестан, известный, как обычно полагают, с XVII в. и возводящийся к азербайджанско-турецкому «даг» (гора) + иранскому «стан» (страна), на самом деле оказывается широко употребляемым в турецких источниках, начиная уже со второй половины XVI в. Именно тогда он

впервые упоминается в местной (азербайджанской) традиции в хронике «Тарих Дагестан» и обозначает соответственно, в отличие от нынешних административных границ Дагестана, пределы «от вилайята Чаркас до города Шамах». Последний уже в XVII в. стал центром одного из беглербегств государства Сефевидов – Ширванского, которое включало в свой состав также Дербент, а на западе – упоминаемое в 1666 г. турецким путешественником Эвлия Челеби Падишахство Дагестан, возглавлявшегося кумыкскими правителями-шамхалами. Но в русской традиции, точнее в документах русско-дагестанских отношений, Дагестан начинает появляться лишь со времен Каспийского (1722 г.) похода Петра I.

Впервые рассматриваемый регион становится предметом описания в древнерусском «Сказании о Железных Вратах», которое, согласно одной точке зрения, было записано в середине XV в. со слов путешественника, который побывал в Дербенте и Ширване между 1436 и 1447 гг. Согласно другой, – могло быть первоначальным описанием маршрута тверского купца Афанасия Никитина из России в Индию или же планом написания его «Хождения за три моря». В «Сказании» говорится о Железных вратах, стоящих над «морем Астраханским», где в первобытные лета бывал город (видимо (см. ниже), Дербент), который «измер в моровом поветрии и запустел», а земля «за Железными Вороты (калька с тюркского, известная в русской летописной традиции с XIII в.)... распространяется до синева моря Хвальньского и до Иньдеи богатые». Однако в данном произведении какие-либо этнокультурные сведения и культурные тропы отсутствуют.

В отличие от него, Афанасий Никитин впервые в русской традиции упоминает в 1466 г. «Дербенть» и «море Дербеньское», а также «городок Тархи» (Тарки) – столицу независимого кумыкского Шевкальского царства, провозгласившего незадолго до этого, в 1441/1442г., свою независимость. Сообщает Афанасий Никитин и об одном из кумыкских субэтнических подразделении – кайтагцах, а также их («кайтачевском») князе Алиль-беге – «шурине ширваншибега» (ширваншаха Халиуллаха). О том же Дербене, но уже и кумуках (самоназвание кумыков) пишет в 1588–1589 гг. Родион Биркин.

Культурные тропы, получившие отражение в материалах другого русского путешественника – Федора Котова (1623 г.) – связаны с Дербентом. В отношении него обращает на себя внимание сведения о кладбище, «где лежат сорок мучеников, а мусульмане и армяне говорят, что это-де русские 40 святых мучеников...». Что касается этноисторического контекста, то обращает на себя внимание сообщаемые этим русским путешественником сведения о городе (крепости) Тереке (Терки), напротив которого находятся Черкесская и Окоцкая слободы, а также слобода новокрещеных. По его данным, река Терек выходит из горных кряжей, где в небольших крепостях живут казаки, чем еще раз подтверждаются мотивированные иными источниками сведения о первоначальной (предгорной (Гребни) области их проживания. Кроме того, от Терека по обе стороны реки Быстрой летом также стоят казаки

для охраны перевозов от нападений немирных и крымских татар. Под первыми из них следует понимать, по всей видимости, кумыков, если принять во внимание сведения из «Проскинтария» Арсения Суханова (1653 г.), у которого наряду с уже известными Тарками впервые упоминаются кумыкские Буйнаки/Байнаки, ногойские улусы по пути из Тарков на Терек, куда сопровождали его «татары», несомненно, кумыки.

Кумыки, подчиняющиеся шаху, живут, по данным Федора Котова, в Тарках. В них «есть небольшой посад и деревянный острожек, здесь сидит Илдырхан, шурин шаха, которого зовут Крым-шахом. Он родом кумык, брат горского князя Салтанамута... В горах над Тарками живут также кумыки, которые имеют своего князя и никому другому не подчиняются». Речь идет о крым(вице)шамхале Эльдаре, сестра которого была замужем за шахом Ирана Аббасом I (1587–1629), периода правления шамхала Андия (1614–1623), каковой мог находиться в это время «в горах над Тарками». Князь Салтанмут, по всей видимости, родоначальник будущей засулакской кумыкской династии, под контролем которой оказалась западная часть Дагестана того времени, достигавшая уже упоминавшихся «Чаркас» (Черкес).

Что касается сообщения Федора Котова, что «между Тарками и Дербентом живут лезгины», князя которых «называют Усминским», т.е. речь идет о владельце Кайтага, носившем титул удмий. Они «живут далеко в горах, никому не подчиняясь... и разбиваются на дороге... Грабежом занимаются усминский и кайдатский князья со своими людьми»; по всей видимости, это кумыки-кайтагцы, уже упоминавшиеся Афанасием Никитиным. При этом обращает на себя внимание практически первое в русской традиции использование экзотонима лезгин, до сих пор обозначающего в азербайджанской традиции жителей Дагестана, главным образом горного.

*А. Б. Соколов (Ярославский ГУ)*

### **Национальный характер англичан в литературе путешествий (конец XVIII – первая половина XIX веков)**

Произведения путешественников являлись одним из источников формирования представлений об «особости» характера английской нации. Вряд ли можно сомневаться, что интерес к Англии подогревался существованием в этой стране политических институтов, прежде всего, парламента, обеспечивавших большую степень свобод по сравнению со странами континентальной Европы. Существовала ли в представлениях англичан и иностранных путешественников связь между характером политической системы Англии и национальным характером? Можно ли проследить в литературе путешествий формирование патриотического дискурса в эпоху, последовавшую за Французской революцией? Незаслуженно забытый английский философ-моралист Уильям Бурдон в вышедшей посмертно в 1820 г. книге «Materials For Thinking» замечал:

он слышал от иностранцев (!), что среди жителей Англии больше людей эксцентричных, чем в любой другой стране. Соглашаясь с этим, Бурдон, с одной стороны, объяснял английский характер так: пользуясь свободой от деспотической власти, англичанин более разнообразно проводит свое время и более свободен в пользовании своей собственностью. Вспомним: Н. А. Ерофеев в книге «Туманный Альбион» указывал: в сочинениях российских авторов второй четверти XIX века взгляд на англичан как на «нацию чудаков» был весьма распространен. С другой стороны, Бурдон считал важнейшим фактором, влияющим на характер англичанина, возможность общаться с людьми разных рангов, то есть известную размытость социальных границ. Он писал: «...трудно найти двух похожих англичан, кроме как в общих чертах их характера: любви к своей стране, храбрости, любви к свободе. Эти черты перемешиваются и дополняются многими другими качествами, но они столь сильные, что составляют суть национального характера». Заметим: Бурдон с большой опаской относился к патриотизму, называя его одним из «предубеждений сознания и воспитания» – идея, совершенно не похожая на то, как считали многие его современники, а тем более люди викторианской эпохи.

Если так писал английский автор, то какие оценки прослеживаются в сочинениях путешественников? Для ответа на этот вопрос проанализировано несколько изданных на русском языке трудов. Сочинение немецкого автора под названием «Путешествие г-на Морица по Англии. В письмах» написано, как это явствует из текста, в 1784 и издано в Москве в 1804 году. Книга интересна теми многими сравнениями, которые автор делал между англичанами и немцами, и тем, что проясняет механизмы появления стереотипов восприятия «другой» нации на повседневном уровне. Этот автор признавал (хотя и не употреблял этого слова) «патриотичность» англичан.

Сочинения русских путешественников первой половины XIX века лучше изучены в отечественной литературе. Обратим внимание на то, что в них преобладает иной подход: часто они более «технологичны» и напоминают «отчет» о выполнении обязательной научно-культурной программы с акцентом в область, являющуюся специальностью автора, например, медицина у Р. Ниберга, естественные науки, астрономия и техника у И. Симонова. Тем не менее, и они содержат оценки национального характера. Ниберг в «Путешествии по Германии, Италии, Швейцарии, Франции, Англии и Нидерландах в 1828 и 1829 году» (1831) почти ограничивается сообщением о «набожности» англичан и в то же время их склонности к «гульбищам». Как писал известный своими консервативными взглядами Н. Греч в «Путевых письмах из Англии, Германии, Франции» (1839), «если что в Англии и достойно уважения, подражания и зависти – это домашняя жизнь достаточных, благовоспитанных англичан... К этому присоединяется искреннее благочестие, душевная набожность образованных сословий Англии... И есть люди, которые не в шутку думают, что Англия единственно своему образу правления обязана силою и благоденствием; что стоит только в

какой-нибудь земле набрать парламент и дать свободу тиснения – и все пойдет, как в Англии. Нет, употребите несколько столетий на облагораживание народного характера, на распространение просвещения, на внушение подданным государства искреннего благочестия, слепого повиновения законам и безусловной любви к отечеству и его уставам».

И. М. Симонов в «Записках и воспоминаниях о путешествии по Англии, Франции, Бельгии и Германии в 1842 году» все же отмечал в англичанах, прежде всего, иное. Его попутчики на пароходе, «почти все англичане» были молчаливы и необщительны. Симонов, человек наблюдательный, полагал: социальное поведение, помогает видеть характер нации. По этому поводу он замечал: «Мне кажется, что национальные танцы могут служить одним верным данным для определения народного характера и степени образования. Не заметны ли различные виды страсти в пламенной неге танцующих Испанцев или Португальцев, и в бешеных телодвижениях и взглядах пляшущих Цыган?» Видимо, Симонов не испытывал особых симпатий к немцам: их вальсы «плачевны», взгляды «дики», музыка «зверская» и «нестройная» (в отличие от «живых» плясок русских»).

При всех их различиях из приведенных примеров можно предположить: в XIX веке доминирующим в конструировании национального характера англичан (и других наций) в трудах путешественников становится национально-патристический дискурс, определяющий правила «говорения» о «других».

*А. С. Осипов* (Ярославский ГУ)

### **Развлечения как механизм формирования национальной идентичности**

- А все, чай, французы ввели моду скучать?  
- Нет, Англичане.  
- А-га, вот что!.. – отвечал он, – да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!

Так выглядели англичане в глазах Максим Максимовича, одного из героев романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», для которого характерной чертой англичан было их пристрастие к алкоголю. Можем ли мы говорить о том, что развлечения, частью которых, безусловно, является и алкоголь, влияют на складывание национальной идентичности, т.е. особых черт, которые являются характерными для каждой нации, и отличают ее от других?

Изучению истории повседневности в современной историографии уделяется большое внимание. «История людей», как ее называет исследователь Э. Уилсон, – противоположность традиционной истории государства, которая сосредотачивает свое внимание на небольшой группе людей – элите – и рассматривает только ее деятельность. Обращение к истории не государства, а народа являлось протестом против устояв-

шейся тенденции, в соответствии с которой наука «не касается отдельного человека, если он не занимает значимого положения в государстве». Задачей социальной истории должно быть воссоздание жизни людей во всех ее проявлениях: от экономики и политики до развлечений и досуга.

Люди всегда старались отдохнуть от работы и разнообразить свой досуг. Для этого они придумывали всевозможные игры и забавы. Англичане, жившие в XVIII веке, не являлись исключением: пирушки, уличные гуляния, балы и маскарады были обычным явлением для Лондона эпохи Сэмуэля Джонсона. Стоит отметить, развлечения – не просто способ развеяться или весело провести время, это – своеобразный механизм конструирования идентичности.

Так называемая «демократизация», которая стирает сословные границы, превращая людей из представителей различных сословий в единое общество, началась, возможно, именно в сфере досуга. Бедняки стремились подражать аристократам в их развлечениях, аристократы постепенно шли на сближение с простолюдинами, как, например, в случае с охотой, когда им требовались навыки крестьян. Постепенно, сближаясь на городских гуляниях или скачках, встречаясь в театрах или на выставках, перенимая друг у друга определенные модели поведения, англичане начинают чувствовать себя людьми одной страны и одной культуры. Так и начинается формироваться так называемая «английскость».

В работах таких исследователей, как Дж. Элтон и Л. Коллей затрагивался вопрос о складывании английской нации и формировании того, что принято называть «английскостью» или «englishness». Среди факторов, способствующих складыванию единой английской нации, Дж. Элтон выделяет династические браки, приобретение аристократами земель и замков за пределами непосредственно Англии. Частые контакты с соседями и необходимость объединения своих земельных владений во многом предопределили объединение Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии в единое государство. Большое значение в формировании чувства национального единства Дж. Элтон придает войнам и колониальной политике. Именно в этих событиях лучше всего проявлялась идентичность, то есть разделение на «они» и «мы».

Досуг и развлечения, наряду с теми факторами, которые выделил Дж. Элтон, также способствуют формированию национальной идентичности. В Англии XVIII в. развлечения становятся в основном общедоступными, т.е. и знать, и простой народ развлекались часто одинаково. Встречи аристократа и простолюдина происходили все чаще: на ярмарках, на выставках и в театрах, на городских гуляниях, в парках и т.д.

С другой стороны развлечения служат способом национальной идентификации при контактах с представителями других государств. Разница в том, как люди относятся к разным развлечениям, в определенной степени может служить подтверждением тезиса о том, что развлечения – один из механизмов конструирования национальной идентичности. Так, например, заметна разница в отношениях немцев и англичан к кулачным боям: англичане «любят морально и физически

все грубое», а немцы «столь умны, что не могут долго и постоянно заниматься безделицами». Это объяснение замечательно тем, что его дает не историк, не человек, рассуждающий о жестокости кулачных боев с точки зрения жителя XX или XXI столетия, а человек, который пишет «на злобу дня», который знаком с ситуацией не понаслышке. Или разное отношение англичан и русских к забавам с медведями: англичане в XVIII в. любили травлю медведей собаками, а в России предпочитали смотреть на то, как дрессированный медведь танцует, катается на коньках и т.д.

Даже эти два примера могут продемонстрировать, что у представителей разных государств можно увидеть то, что принято называть «национальным характером», который ярко проявляется именно в их отношении к развлечениям.

*Е. А. Кулакова* (Санкт-Петербургский институт истории РАН)

**Terra incognita или locus communis:  
к вопросу о традиции написания британских травелогов о России  
в первой половине XIX в.**

Жители Туманного Альбиона издавна славились страстью к путешествиям. Современные британские исследователи отметили, что стремление Великобритании к политической гегемонии и новым экономическим приобретениям во многом объясняло желание поданных английской короны посещать незнакомые страны, чтобы утвердить превосходство своей культуры, своего народа. С конца XVIII в. сам акт путешествия для англичан был тесно связан с написанием травелога, под которыми подразумеваем сочинение о реальном (или претендующем на действительно совершенное) путешествии, оформленное в виде рассказа, дневника, писем. В первой половине XIX в. этот жанр пользовался большой популярностью.

Со второй половины XVIII в. помимо традиционного Гран-тура, в который входило посещение Франции, Пруссии, Австрии, Нидерландов, все большую популярность в среде европейских аристократов приобретал Северный тур, путешествие по странам Скандинавии, по России, Финляндии, Польше. Российская империя для британцев, с одной стороны, была страной незнакомой, неевропейской, восточной. С другой, все больше англичан приезжали в это северное государство; более того, «немногие путешественники покидали великолепную столицу, Санкт-Петербург, не написав о ней труда» (Tours in the Russian Provinces // The London Quarterly Review. March, 1841. Vol. LXVII. P. 186). В конце XVIII – первой половине XIX вв. в Лондоне было опубликовано множество книг, авторы которых подробно описывали свои путешествия в Петербург и Москву. Популярностью пользовались сочинения У. Кокса (1770), Э. Кларка (1810–1823), Дж. Кохрэна (1824), Дж. Холмана (1825), капитана Джонса (1827), А. Гренвилла (1828), Дж. Эрроу (1834). Перед путешественником, задумавшим написать

очередной травелог, вставали две проблемы: первая – объяснение актуальности публикации собственной работы; вторая – необходимость высказывания оригинальных идей. Впрочем, в какой-то мере эта особенность объяснялась существовавшим трафаретом написания травелогов.

Все авторы воспоминаний во введении старались обосновать важность своего сочинения и объяснить, почему они решились его опубликовать. Причины могли быть разными. Одни обращались к актуальным вопросам внешней политики и ценность своих книг видели в том, чтобы дать читателю достоверную информацию об определенном событии или происшествии. Написание травелога в таких случаях было лишь поводом вступить в дискуссию и выразить собственную точку зрения по тому или иному политическому вопросу. Другие объясняли желание издать свой труд уникальностью собственных наблюдений. Р. Венаблз опубликовал свою книгу лишь потому, что большую часть времени во время поездки он провел во внутренних губерниях России (в Ярославле, Тамбове), в то время как подавляющее большинство авторов предпочитали описывать Санкт-Петербург и Москву (Venables R. *Domestic Scenes in Russia: In a Series of Letters Describing a Year's Residence in That Country, Chiefly in the Interior*. London, 1839. P. iii). Другой англичанин, Ч. Эллиотт, своими заметками стремился привлечь внимание соотечественников к красоте природы стран Скандинавии и России (Elliott Ch. B. *Letters from the North of Europe*. London, 1832. P. 375). Таким образом, акцентирование внимания на том, что нового или необычного путник встретил в посещаемой им стране, в чем уникальность его труда, являлось неизменным атрибутом британских травелогов рассматриваемого периода.

Несмотря на то, что интересные сюжеты порой приходилось «отыскивать», в целом британцы располагали довольно скудными сведениями о географии, природе, населении России, поэтому черпали информацию главным образом из географических и естественнонаучных трудов немецких авторов. Широкой популярностью пользовались книги Г. Ф. Миллера, С. Г. Гмелина, П. С. Палласа, И. Г. Георги. Некоторые путешественники сетовали, что российские власти считают любые точные сведения (касающиеся климата, почв, социальной системы, армии, флота и прочие) секретными, и поэтому тщательно их скрывают. Однако главной причиной незнания была не столько недоступность сведений, сколько нелюбопытство самих британцев. Вряд ли можно утверждать, что британцев вовсе не занимали особенности российского социального, политического строя. Но эта информация была значимой лишь с точки зрения сопоставления со «своим» жизненным миром. В травелогах, ориентированных на британскую публику, авторы обращали внимание в первую очередь на сходства и различия «своей» и «чужой» действительности.

Таким образом, несмотря на большое число изданных в конце XVIII – первой половине XIX вв. сочинений о России и даже складывание своеобразной культуры написания травелогов, для британцев Российской империя во многом оставалась *terra incognita* и продолжала привлекать путешественников своей экзотичностью.

**Разнообразие ментальных типов Костромской губернии  
в путевых заметках XIX века**

Путевые заметки восходят к итинерариям, периплусам, хождениям, – нарративным заменам картографии. Их роль в культуре менялась в зависимости от ценностных установок эпохи. Как жанр, путевые очерки разнообразны, они зависят не только от времени, но и от личности автора, отражают круг его интересов и цели путешествия. Общее в них – одно: они передают калейдоскоп впечатлений путешествующего, вызванных многообразием увиденного.

Сравнения становятся неотъемлемой частью дорожных записок: «Дворяне ... соображаются в обычаях, в одеяниях с Петербургом. Смирная Кострома, хотя не шумна, не богата забавами, но все веселее Нижнего». «Народ продолжается крупной, чистой... редко увидишь кого в лаптях... Красота, свежесть лиц даны обитателям по Волге, и вы найдете здесь много красавиц». Крестьяне «живут в довольстве. Какая противоположность с Тамбовским краем!» – восклицал П. И. Сумароков в 1838 г.

Когда человек минует за одну поездку 12 губерний, как П. И. Сумароков, сравнения неизбежны. Впрочем, были путники, преодолевшие и большие расстояния. Так, М. П. Жданов проехал 22 губернии, поэтому, минуя Кострому, даже не проснулся.

Казалось бы, при путешествии в пределах одной губернии впечатления должны быть более однородными, однако это не так. Сама по себе протяженность Костромской губернии – 473,6 км. с севера на юг и 754,2 км. с запада на восток – предполагала на этом расстоянии определенное разнообразие. Традиционно в Костромской губернии выделяли лесной восток (Кологривский, Ветлужский, Варнавинский и Макарьевский уу.), отходнический Северо-Запад (Буйский, Галичский, Чухломский, Солигаличский уу.) и промышленный юг (Юрьевецкий, Кинешемский, Нерехтский и Костромской уу.). Исходя из различий в природных условиях и, как следствие, в занятиях жителей, можно было априори предполагать и разницу в ментальных установках.

Путевые заметки XIX в. оправдывают эти ожидания. Крестьяне из пограничного с Вологодской губернией селения вели с профессором М. П. Погодиным в 1840 г. такой диалог: «Разговор начался с их управления: “Довольны, батюшко, совершенно довольны” (...) “А мужички у вас каковы?” – “Тихие, батюшко, сказать, что тихие; мы ведь живем в глуши”». Это, пожалуй, стало общим местом в описании восточных уездов.

Схожие впечатления скромности, неброскости в поведении и одежде произвели жители северо-востока на костромского помещика И. П. Корнилова, который путешествовал из Костромы в Солигалич зимой 1857 г.: «По суровому климату Кологрив может быть назван Сибирью Костромской губернии; в здешних огородах не вызревают ни

огурцы, ни ягоды. Я въехал в город, когда народ выходил из церкви. Все были скромно одеты: здесь не щеголяют нарядами». То же наблюдали путешественники и в уезде: «Парфентьевские крестьяне вообще смиреннее и уступчивее галицких. Проезжий мужичок только завидит кибитку или заслышит колокольчик, – сам сворачивает с торной дороги в рыхлый снег». Однако близость к городу, даже уездному, портит людей: «Подгородные крестьяне всегда больше пьянствуют, чем наш брат, серый мужик, потому что под городом кабак близко».

Совсем иное впечатление производили жители отходнического северо-запада, но и там было далеко до единообразия. Общей чертой единогласно признавалась большая бойкость и грамотность. Некто Терехов, опубликовавший свои записки в «Вестнике промышленности» за 1860 г. (т. I, pag. 3), отмечал: «Переходя в уезд Галицкий, мы должны заметить довольно резкое отличие, как в нравах, так и в образе жизни его жителей. Они живут несравненно лучше, отличаются чистотой, опрятностью и гостеприимством. Грамотность распространена везде».

Однако отходнические уезды различались между собой. Тот же И. П. Корнилов записал такой разговор: «В веселый уезд едем, – заговорил мой сидоровский ямщик, – от Сидорова к Чухломе пошел народ хорош, и чем ближе к Чухломе, тем бойчее, – здешний край потому и называется “Чухлома зеленая”, что весело живут. Здешний народ самый что ни на есть форсистый, протестованный, учен Москвою да Питером, не то что вино кабацкое – ему подавай чаю; хоть в деревне живет, а всякое ученье и городские обычаи знает, словом сказать, народ образованный, обер-вор: свои рукавицы за пазухой – чужих ищет». При всем том отмечалось, что «форс» не всегда был соотнесен с реальным достатком: «от нас к Парфентьеву да Кологриву народ тоже не чухломьятам чета, гораздо посрее: иной мужик на самом деле куда богаче здешнего, да виду такого не задает. А здешний народ – (...) гораздо провористее: здесь так бывает, что в одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи, а сам при людях фу, каким гоголем ходит».

Характерно, что жители южных уездов описывались, так же, как жители губернского центра и одновременно как представители губернии в целом.

*В. М. Марасанова* (Ярославский ГУ)

### **Верхнее Поволжье в записках путешественников XIX столетия**

В XIX столетии заметно усилилась подвижность населения Российской империи. По собственной инициативе и по заданию соответствующих министерств и ведомств россияне посещали разные страны и континенты. При этом объектом внимания путешественников могли становиться и внутренние российские регионы, к примеру, Верхнее Поволжье (Владимирская, Костромская, Тверская и Ярославская губернии).

Интерес с точки зрения избранной темы представляют записки Астольфа де Кюстина. Они произвели большое впечатление на современников и неоднократно переиздавались впоследствии целиком и в отрывках. Путешествие в Россию маркиз де Кюстин предпринял в 1839 г. и оставил содержательные, не связанные никакими догмами путевые заметки (Кюстин А. Николаевская Россия. М., 1990). В частности, маркиз подробно описал свою встречу с ярославским губернатором К. М. Полторацким. Он считал посещение Ярославля одним из самых интересных этапов всей своей «экспедиции в Россию для ознакомления с бытом и нравами страны».

Заметки К. Д. Ушинского рассказывают о Верхнем Поволжье и, в особенности, о Ярославле, где в 1846–1848 гг. он преподавал законоведение и государственное право в Демидовском лицее (Ушинский К. Д. Поездки по России. Ярославль, 1969). Основоположник отечественной педагогической науки описал свои впечатления о поездках в Ростов (1848), а также по поволжским городам от Твери до Нижнего Новгорода (1860). В сентябре 1849 г. из-за разногласий с начальством К. Д. Ушинский был вынужден подать прошение об отставке и уехать из Ярославля. Он снова приезжал сюда в 1860 г. и писал о Ярославле: «Какой это хорошенький, чистенький городок... Ярославцы известны по всей России своей ловкостью, сметливостью, необыкновенными способностями к промышленности и торговле». В период работы в лицее К. Д. Ушинский жил в центре Ярославля на ул. Стрелецкой (ныне ул. Ушинского, 80), и 27 апреля 1848 г. его здесь навещал А. Н. Островский, который записал в дневнике об Ушинском: «Заходил к нему, потолковали с ним побольше часу». О самом городе драматург писал так: «Ярославль – город, каких очень не много в России. Набережная на Волге уж куда как хороша».

А. Н. Островский часто бывал в верхневолжских губерниях, а его отец владел имением Щельково около Костромы. В 1856 г. А. Н. Островский был направлен Морским министерством в Верхнее Поволжье с целью изучения быта жителей прибрежных районов. Кстати, в то же время Морское министерство направило писателя И. А. Гончарова в кругосветное плавание на фрегате «Паллада», капитаном которого являлся будущий ярославский губернатор И. С. Унковский (Описание экспедиции см.: Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: Очерки путешествия: В 2 т. М., 1994).

Экспедиция А. Н. Островского на Верхнюю Волгу проходила с апреля по август 1856 г., а затем с начала мая по август 1857 года. По итогам путешествия в «Морском сборнике» в 1859 г. была опубликована небольшая статья, рассказывающая о городах и населенных пунктах от Твери до Осташкова (Островский А. Н. Путевые заметки: Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода // Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 10. М., 1978. С. 322-347). В заметках о путешествии 1856 г. А. Н. Островский писал, что в Твери его особенно поразила чистота главных улиц. Как уже отмечалось, эти материалы мо-

гут дополнить дневники А. Н. Островского, где также описаны верхневолжские губернии и встречи автора с тверским губернатором А. П. Бакуниным, губернским предводителем дворянства А. М. Унковским и другими деятелями.

Хронологически продолжали освещение изучаемой темы «Ярославские письма» И. С. Аксакова – сына известного писателя С. Т. Аксакова. В 1849–1850 гг. он был командирован Министерством внутренних дел в Ярославскую губернию «для обревизования городского хозяйства», а также имея секретное задание для сбора сведений «относительно раскола». В своих письмах И. С. Аксаков оставил краткие заметки о самом Ярославле и многих уездных городах губернии, где бывал по делам службы (Аксаков И. С. Ярославские письма // Ярославля: сборник. М., 1990. С. 50-71). Так, в письме от 23 мая 1849 г. он отмечал: «Город белокаменный, веселый, красивый, с садами, с старинными прекрасными церквями, башнями и воротами; город с физиономией... Роскошь в городе страшная. Мебель, квартиры, одежда – все это старается перещеголять и самый Петербург». 5 июня 1849 г. Аксаков писал о том, что «благодаря попечительности губернатора Безобразова» была улучшена дорога от Ярославля до Романово-Борисоглебска и «усажена почти вплоть до Романова березами». И действительно, когда в 1840 г. МВД по своей статистике выделило 21 город со значительными доходами, в верхневолжском регионе были отмечены только Ярославль и Ростов.

Данные материалы в комплексе с другими источниками (в том числе с записками коренных ярославцев) существенно дополняют представления по истории региона и позволяют оценить вклад российских литераторов и государственных служащих в изучение страны на протяжении XIX столетия.

*Н. Н. Родигина* (Новосибирский ГПУ)

### **Литературные экспедиции в Сибирь второй половины XIX в.: инициаторы, мотивы, результаты\***

Изучение литературных экспедиций в Сибирь второй половины XIX столетия расширяет представления о репрезентациях окраин империи в русской культуре пореформенной эпохи, позволяет уточнить этапы эволюции и факторы формирования образа Сибири, выявить причины «моды на Сибирь» у русских интеллектуалов.

Практика организации литературных экспедиций в изучаемый нами период берет начало с известной экспедиции, организованной в 1855 г. морским ведомством по инициативе великого князя Константина Николаевича для исследования быта жителей Архангельской, Аст-

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант 10-01-00445а.

раханской, Оренбургской губерний, занимавшихся рыболовным промыслом. Результатом экспедиции должны были стать литературные очерки, предназначенные для публикации в «Морском сборнике». В качестве экспертов были привлечены А. Ф. Писемский, С. В. Максимов, А. А. Потехин, А. Н. Островский. Образцом жанра послужили очерки И. А. Гончарова, составившие впоследствии цикл «Фрегат Паллада» и ставшие своеобразным литературным каноном для участников последующих экспедиций на восток империи.

Впоследствии практика организации литературных экспедиций стала обыденной. Участник первой литературной экспедиции, писатель и этнограф С. В. Максимов по поручению великого князя был отправлен для исследования только присоединенного к России Амурского края. Результатом поездки стал цикл очерков, опубликованных в «Морском сборнике» и «Отечественных записках» (в 1864 г. изданы под общим названием «На Востоке, поездка на Амур в 1860–1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания»). Собранные Максимовым на обратном пути от Амура в европейскую Россию сведения о состоянии тюрьмы и ссылки, в 1871 г. были опубликованы под названием «Сибирь и каторга». Широко известно, что они стали одним из литературных источников произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова и др. Экспедиция Максимова была наглядным воплощением идеи «научного завоевания» новых территорий, характерной для имперской географии власти. Однако помимо сбора научных сведений о природно-климатических характеристиках «новых земель», их экономических и оборонных ресурсах, об образе жизни их населения, власть привлекала литераторов для формирования художественных образов имперских окраин.

В 1880–1890-е гг. литературные экспедиции в Сибирь предпринимались по инициативе самих писателей, как правило, при финансовой поддержке ведущих периодических изданий. Можно назвать следующие причины актуальности «сибирской темы» в русской общественной мысли: *социально-экономические* (строительство Транссибирской железной дороги, массовое переселенческое движение в регион, ускорение его хозяйственного развития и др.); *социокультурные* (рост регионального самосознания сибирской интеллигенции, активная литературная деятельность политических ссыльных и областников); *общественно-политические* (борьба за распространение на регион либеральных реформ, отмену ссылки) и др.

Однако желание узнать «эту чертову яму», «мрачную и холодную» Сибирь (Г. И. Успенский) было связано не столько с противоречивой литературной репутацией региона, сколько с идентификационными исканиями русских писателей. Одним из ключевых мотивов экспедиций писателей-реалистов было желание познать «Россию в Сибири» – месте, наиболее ярко воплощавшем «язвы» и беды русской жизни; понять и описать мужика в экстремальных условиях, в драма-

тичные, переломные моменты его жизни; увидеть своими глазами такого русского мужика, который не знал крепостного права.

Как известно, литературная экспедиция в Сибирь Г. И. Успенского для ознакомления с состоянием переселенческого дела продолжалась с мая по август 1888 г., ее основным результатом стали «Письма с дороги», опубликовавшиеся на страницах «Русских ведомостей» и впоследствии вошедшие в цикл «Поездки к переселенцам». Не менее важны были встречи авторитетного «бытописателя внутренней России» с политическими ссыльными, представителями сибирской интеллигенции, способствовавшие включению провинциалов в имперское интеллектуальное пространство.

Не без влияния поездки Успенского родилась идея экспедиции в Сибирь одного из учредителей «Общества вспомоществования нуждающимся переселенцам» известного экономиста А. А. Исаева. Несмотря на то, что целью поездки был сбор информации о социально-экономическом положении переселенцев, об организации помощи мигрантам в сибирских губерниях, одним из ее результатов, в соответствии с традициями литературоцентричной эпохи, стали путевые записки «От Урала до Томска», опубликованные в 1891 г. «Вестником Европы».

Самой знаменитой литературной экспедицией на восток империи можно считать поездку А. П. Чехова на Сахалин в 1890 г. Итогом поездки, помимо очерков «Из Сибири» и книги «Остров Сахалина», стал новый этап литературного паломничества в Сибирь. По совету Чехова в Сибирь за «литературным материалом» отправился начинающий писатель Н. Д. Телешов, «открывать свой Сахалин» поехал «король фельетона» В. М. Дорошевич.

Литературные экспедиции, результаты которых публиковались на страницах популярных периодических изданий, способствовали ментальной и интеллектуальной «колонизации» новых территорий, включению их в ментальные карты образованных русских как «своих» земель. Репрезентации Сибири как «другой России» (виноватой/наказанной/вольной и др.) способствовали формированию национальной, мировоззренческой, социокультурной идентичностей образованных русских, стали основой для понимания особенностей своей родной «внутренней России».

*О. А. Власюк* (Омский ГПУ)

**«Я пошёл к немцам за настоящей наукой...»:  
образ Германии в путевых заметках русских историков  
второй половины XIX в.**

В среде профессионального русского исторического сообщества второй половины XIX в. наблюдается складывание различных школ и исследовательских направлений. В этот период возникает практика заграничных путешествий русских историков.

Образ «ученой» Германии в среде образованного сообщества сложился еще в период 30–40-х гг. XIX в. Основными компонентами этого образа были: университеты, знаменитые профессора в области истории, географии, философии, филологии и собственно научное знание. Распространению образа «ученой» Германии способствовали записи и воспоминания о Германии Н. В. Станкевича, П. В. Анненкова, Т. Н. Грановского и др.

Путешествия русских историков в Германию возобновились в 60-е гг. XIX в. При этом, несмотря на перерыв в посещении этой страны, революционные события 1848 г. русские историки ехали в Германию с уже сложившимся положительным образом этого пространства.

При поддержке Министерства Народного просвещения во второй половине XIX в. заграничные путешествия совершали историки, в первую очередь занимающиеся вопросами всеобщей истории. В 1862 г. В. И. Герье отправляется в командировку за границу с ученой целью. Первый семестр он провел в Берлине, где слушал лекции Моммзена, Ранке. Д. А. Цыганков отмечал, что «Берлин оставил у Герье двойственное впечатление. С одной стороны, эта была цитадель немецкой образованности. <...> Однако Герье не устроил общий подход к восприятию истории немецкой школой <...> Герье желал видеть в истории науку концептуальную, идейную» (Цыганков Д. А. В. И. Герье и историческая наука второй половины XIX века в Московском университете. URL: [http://az.lib.ru/a/annenkow\\_p\\_w/text\\_0060.shtml](http://az.lib.ru/a/annenkow_p_w/text_0060.shtml)). Помимо Герье в разное время Германию посещали, В. Г. Васильевский, П. Г. Виноградов. Пребывая в Берлине в 1885 г., М. С. Корелин в письмах к В. И. Герье писал, что «Берлин меня разочаровал <...> Университет поражает количеством научных сил, привлекает свободой преподавания, но опять не удовлетворяет вследствие элементарности курсов» (Письма М. С. Корелина В. И. Герье 29/10 1885 // История и историки. 2005. № 1. С. 344).

Ездили за границу во второй половине XIX в. и историки, занимающиеся вопросами истории России, однако они носили *ознакомительный* характер. Научная цель в путешествии была только сопутствующей, не всегда определяющей маршрут поездки. При всей условности и неопределенности маршрута были страны, которые посетить для русского историка являлось традицией. К их числу относилась и Германия.

В 1862 г. Германию посещает К. Д. Кавелин для анализа организации высшего образования и консультаций по поводу составленного особой комиссией проекта университетского устава. В это же время Берлин посещает А. Н. Пыпин. В своих «заметках» он отмечает, что «в университете было чрезвычайно любопытно послушать знаменитых профессоров, их в Берлине бывало не мало: мне приятно бывало потом вспоминать, что я слышал не однажды знаменитого Риттера, <...> Леопольда Ранке; более специальной знаменитостью был тогда Рудольф Гнейст» (Пыпин А. Н. Мои заметки. Саратов, 1996. С. 172).

Русские историки начинают критически относиться к уровню научного знания, системе образования и т.д. Например, Б. Н. Чичерин, слушая лекции по праву в Гейдельберге, отмечает, что «прослушав две, три лекции, я увидел, что они не принесут мне ни пользы, ни удовольствия <...> я достиг уже той степени зрелости, когда мне для пополнения моих сведений нужно было главным образом живое и подробное, а не приобретаемое на студенческой скамье, более или менее элементарное знакомство с учреждениями» (Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина. М., 1932. Т. 3. С. 86-87).

Путешествия русских историков в Германию продолжают и в 70-е гг. XIX в. В это время распространение получают рекомендации по посещению за границей тех или иных мест и людей. Так, К. Д. Кавелин дает рекомендации в письме Д. А. Корсакову. «Ведите себя умненько с иностранцами, т.е. без излишней фамильярности, и без фальшивого поклонения <...>» (ИРЛИ. Ф. 119. Оп. 1. Д. 26. Л. 1 об.-2).

В 90-е гг. XIX в. несмотря на напряженность в отношениях между Россией и Германией, русские историки остаются верны своему желанию посетить Германию. В одном из писем С. Ф. Платонову М. А. Дьяконов писал, что «Попаду ли я в ближайшее время в СПб, еще не знаю. Хочется мне все же съездить за границу, по крайней мере, в Германию» (РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2860. Л. 30 об.).

В целом, можно говорить о том, что русские историки на протяжении всей второй половины XIX в. продолжают посещать Германию по уже сложившейся традиции. Причем едут они туда с идеальным образом «ученой» Германии 30–40-х гг., который в результате пребывания там русских историков постепенно разрушается под влиянием критического отношения к системе образования, изменяющейся роли философии, смены методологии.

*Н. Г. Панченко* (Омский ГПУ)

### **Испания как «другая Европа» в представлениях русского образованного общества середины XIX века (по материалам «писем» В. П. Боткина)**

Разговор о представлениях одних народов о других невозможен без обращения к понятию национальной идентичности. Национальная идентичность есть результат «воображения» себя сообществом, формирование им своего образа. Нация осознает себя, отделяя от «других» (стран и народов), формируя тем самым свою картину мира. Картина мира национального сообщества концептуально наполнена, отражает комплекс географических, культурно-идеологических представлений и конструкций.

Национальная идентичность русского общества середины XIX в. связана с осмыслением исторического пути России и её места среди других стран и народов, что ярко иллюстрируют знаменитые споры

славянофилов и западников. Бесспорно, особым местом в картине мира образованного русского этого времени является культурный диалог России и Европы. Мы придерживаемся точки зрения Б. А. Успенского который считает, что Европа – культурно-историческое и идеологическое пространство, являющееся для России осознанным культурным ориентиром. (Успенский Б. А. Европа как метафора и как метонимия (применительно к истории России) // Logic.ru: (сайт). URL: <http://logic.ru/ru>).

В русском обществе середины XIX века, как показывает В. Г. Щукин, существовало представление о Европе как самом прогрессивном месте на земном шаре и об англичанах, французах и немцах как наиболее развитых народах Европы (см.: Щукин В. Г. Российский гений просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М., 2007. С. 79, 81). Какое место в картине мира россиянина остается другим странам и народам Европы? Каков, в частности, образ Испании – страны, далекой от России культурно и географически? За ответом на эти вопросы обратимся «Письмам об Испании» В. П. Боткина, опубликованным в журнале «Современник» в 1845–47 гг.

Автор «Писем» остается верен страноописательной традиции своего времени, разделяя образ Испании на две взаимосвязанные составляющие: природа страны и нравы, обычаи народа.

В «Письмах» В. П. Боткина испанская природа предстает в образе огненной земли, не любящей золотой середины: пустыня здесь имеет свой, особенный характер, она «самая прозаическая, без Африки, без моря песку, без могучего ветра, взвещающего его», роскошная же растительность страны невиданна и удивительна: «перед ней растительность самой Сицилии кажется северною» (Боткин В. П. Письма об Испании. Л., 1976. С. 38, 54). Географически Испания – не Африка и не Европа, она предстает у автора в образе отдельного мира. При описании природы В. П. Боткин четко проводит границу между Европой и Испанией, развенчав стереотип об Испании как об «огромном цветнике», он наполняет природу страны страстями и сокровенными движениями души, создавая образ чего-то ранее не виданного, описывая пейзажи, незнакомые Европе.

Описывая нравы и обычаи Испании, В. П. Боткин «открывает» страну читателю: «Ах, если бы испанцы могли взамен того, что они так неловко заимствуют у Европы, сообщить ей хоть немного своей кроткой, доброй, беззаботной веселости, о какой Европа не имеет понятия!» (Письма об Испании. С. 28) В своем сочинении автор отделяет Испанию от остальной Европы: для него испанцы прежде всего – не англичане, не французы и не немцы.

Отметим, что обе составляющие образа Испании в «Письмах» конструируются по большому счету от противопоставления, а не от описания. Противопоставляя Испанию Европе, В. П. Боткин не выносит эту страну за рамки воображаемого европейского культурно-идеологического пространства и видит её как непривычную, «другую»

Европу. Автор старается понять эту «другую» Европу, призывая вскрыть причины политической отсталости Испании, взглянув на неё «изнутри», а не через призму общеевропейской истории.

Таким образом, эта «другая» Европа становится качественно новым образованием в сознании русского интеллигента, неким отхождением от существующих представлений, в которых есть периферия Европы и её периферия.

В поисках национальной идентичности Испании автор обращается к понятию «Восток» как к комплексу представлений обо всем неевропейском, утверждая, что «путешественники пишут о Востоке с заранее составленной мыслью о превосходстве всего европейского и смотрят на восточную жизнь с европейской точки, как на курьезность...». (Письма об Испании. С. 186). Это суждение в духе ориенталистского подхода фактически указывает на иллюзорность понятий «Запад» и «Восток» и на невозможность на их основе определить национальную идентичность страны.

Образ Испании, созданный В. П. Боткиным в середине XIX века, дал читателям-современникам возможность по-другому взглянуть на себя и на свою культуру. Знакомство с Испанией становится и для автора, и для читателя откровением: открывая в ней «другую» Европу, они изменяют свое миропонимание и концептуальные рамки своего мышления.

*Т. Н. Гелла* (Орловский ГУ)

### **Англичане и испанцы в конце XIX – начале XX вв. глазами русских: сопоставительный анализ**

Россия в последней трети XIX в. переживала эпоху реформирования, находилась в поиске своего собственного пути в общеевропейском развитии. Представители передовых общественных кругов и передовой интеллигенции стремились по-новому оценить и осмыслить опыт социально-политического развития как наиболее развитых капиталистических стран, таких, как Англия, Франция, США, так и тех, где капитализм утверждался медленно, с большими трудностями. К числу последних можно отнести Испанию.

В заметках и воспоминаниях русских путешественников и представителей творческой интеллигенции, посещавших страны Западной Европы, всегда можно найти описание европейских столиц. В их числе были и Лондон, и Мадрид.

Лондон никого из русских не оставлял равнодушным. У одних он вызывал чувство неприязни, как, например, у побывавшего в 1893 г. на гастролях в Англии П. И. Чайковского; на других, в частности Ф. И. Шаляпина, М. Горького, производил неизгладимое положительное впечатление. Русских современников привлекало в Лондоне все. Их восхищало его величие, грандиозность, сила, наличие многочисленных

памятников культуры, что, по их мнению, влекло за собой наличие большого количества образованных, культурных людей в Лондоне.

Мадрид в заметках и воспоминаниях русских авторов также предстает в разных ракурсах. П. Д. Боборькин уже в 1860-х – начале 1870-х гг. находил, что Мадрид – «совсем не типичный испанский город, хотя достаточно и старый», под влиянием европеизации он «вроде большого французского города». Посетивший в начале XX в. Испанию А. Шепелевич отмечал, что Мадрид сделал большие успехи: новые улицы, бульвары и сады, электрические трамваи, электрическое освещение. По его мнению, Мадрид производил впечатление «вполне благородной столицы». Более скептически был настроен А. Шелетов. Он писал об «иллюзии деловитости и лихорадочного темпа мадридской жизни», о жизни «не торопясь», «с прохладцей». Жители предпочитали «наладившийся уже порядок жизни и отношений» в противовес рискованным новшествам.

Необходимо отметить, что все заметки русских об Испании 1860–1900-х гг. проникнуты чувством глубокой симпатии к Испании и испанцам, к стилю народной жизни. Все с увлечением писали об испанском характере, о природной одаренности народа, подчеркивали, что испанцы меньше, чем некоторые народы Европы, привержены ценностям буржуазного общества, погоне за наживой, за богатством, более естественны и свободны.

Восприятие русскими английской и испанской наций разительно отличается.

Одной из характерных черт викторианца, по их мнению, была «гордость». Истоки гордости англичан русские видели в развитом чувстве патриотизма: «Патриотизм для англичанина есть природный национальный инстинкт, а не навязанная извне формула, поэтому их патриотические чувства не разделяют, а объединяют нацию» («Вестник Европы» за 1900 г.) Наряду с гордостью, типичными чертами англичан издавна считались холодность, сдержанность в проявлении чувств, молчаливость. Эти качества связывались с глубокомыслием, выдержкой, терпеливостью, целенаправленностью. Говоря о нравственности англичан, русские отмечали честность и религиозную терпимость. Но были черты характера англичан, вызывавшие критику. Например, прагматичность. В конце XIX века русские стали отмечать, что это качество порождало некоторые отрицательные стороны английского характера – корыстолюбие, скупость; постоянную погоню за наживой; оно определяло пренебрежительное отношение англичан к искусству и обедняло жизнь. На первый план русскими авторами выдвигается тезис о «бесцеремонном эгоизме англичан».

Испанец предстал перед русским читателем иным. Русские отмечали гостеприимство испанцев, их великодушие, благородство, чувство собственного достоинства. Испанцам присуще веселье, которое, по мнению русских, нужно было им, как воздух. Русские отмечали у испанцев ум, богатое воображение, остроумие.

Русские путешественники чувствовали себя в Испании свободно, ощущали нечто близкое, знакомое и родное. У них оставались самые благоприятные впечатления от Испании и ее народа. В их заметках часто можно встретить выражения: «как у нас русских», «как в России» и т.д. П. Д. Боборыкин замечал, что «в манере говорить, в тоне я находил некоторое сходство светских и вообще образованных испанцев с русскими» (Боборыкин П. Д. Воспоминания. М., 1965. Т. 2. С. 67).

Тема «схожести» испанцев с русскими часто встречается в «Воспоминаниях» художника Константина Коровина, посетившего Испанию в начале XX в.: «... почему, несмотря на другую природу, обстановку, весь иной лик, я чувствовал себя, будто я в Москве? В чем дело? И вдруг понял, в чем похожи испанцы на нас: в радушии и разгуле» (Коровин К. Воспоминания. М., 1999. С. 479).

В целом, образ англичан в русской публицистике и литературе путешественников – это отражение уже сложившегося стереотипа англичанина в русском обществе. Что же касается образа испанцев, то можно сделать вывод о его трансформации в конце XIX в.

*И. В. Крючков* (Ставропольский ГУ)

### **Вена и Будапешт: два имперских центра в текстах русских путешественников**

Города Австро-Венгрии довольно часто становились объектом воспоминаний российских путешественников. Наибольшей популярностью среди россиян пользовались Вена, Прага, курорты Богемии, Нижней и Верхней Австрии. Будапешт, находясь в стороне от основных маршрутов передвижения россиян по Европе, не пользовался у них славой.

Знакомство русских с Европой начиналось либо в Берлине, либо чаще всего в Вене, даже если они транзитом проезжали через столицу Австрии в Италию или Южную Францию. Варшава – это почти Европа, а Вена – это уже настоящая Европа. П. Н. Милоков свое познание Европы начал именно в Вене, где он увидел настоящий Запад. Большинство россиян отмечало пограничный характер Вены и Будапешта: граница между Россией и Европой, Западом и Востоком, Германским миром и Балканами. Вена и Будапешт, впитав черты западной и восточной культур, отличались от Берлина и других классических европейских городов, их особенность заключалась в поликультурности. Поэтому многие россияне полагали, что Вену нельзя считать германским городом, относя это к одному из мифов, распространенных в России о Вене и венцах.

Вена и Берлин, излюбленный формат сравнения средневропейского и германского миров. Вена – это «аристократический шик и древнее происхождение», Берлин – «город выскочка, с небогатым прошлым». Практически все сравнения Вены и Берлина были в пользу австрийской столицы. Повседневность Берлина – мир бюрократии, педантизма и прагматизма. Повседневность Вены и Будапешта – «мир кафе», своеоб-

разная культура габсбургских столиц, где кафе далеко выходят за пределы «имперского общепита». Это своеобразный стиль жизни, политики, интеллектуального пространства. Все воспоминания Л. Д. Троцкого о Вене невольно сводятся к его дискуссиям с К. Реннером, О. Бауэром и другими австрийскими политическими деятелями за столиками венских кафе. П. Н. Милюков и другие россияне, даже если они негативно высказываются о венской и будапештской кухне, с большим благоговением вспоминают дивный кофе Вены и Будапешта.

Городской ландшафт Вены и Будапешта дифференцируется в восприятии россиян так же четко. В Вене город делится на исторический центр и окраины, город и пригороды и особняком стоит «город в городе» – Рингштрассе, которая воплотила блеск и величие имперской Вены. Будапешт – это, прежде всего заставший в развитии Офен (Буду) и бурно развивающийся Пешт, блистательный центр и грязные окраины. Из-за своей европейскости Будапешт для ряда россиян есть самый невенгерский город Венгрии.

Достижения модернизации в Вене и в Будапеште у них вызвали большой восторг (архитектура, организация транспортного сообщения, городское хозяйство). Данное обстоятельство приводило к постоянным параллелям с Россией, даже Санкт-Петербург в этом отношении не мог тягаться с Веной и Будапештом, не говоря уже о Москве и провинциальных городах Российской империи. Попытки объяснения причин данного явления сводились к различиям культурного уровня и наличия в Австрии и Венгрии большей свободы, чем в России и в других странах. Неслучайно, Л. Д. Троцкий выбрал Вену в качестве места проживания в эмиграции, потому что в Вене не было такого разгула полицейщины, как в Берлине.

Большинство воспоминаний принадлежат мужчинам, что предопределило интерес к «женской тематике». На их взгляд все лучшие качества Вены и Будапешта были воплощены в их женщинах: элегантность, грациозность, умение комфортно организовать свою жизнь. Женщины Вены и Будапешта отражали слияние лучших качеств Европы и Востока, в частности от восточных женщин они переняли сластолюбие и изнеженность. Отсюда тяга венков к узкой талии трактовалась как «попытка хоть как-то отличиться от женщин Востока».

При доминировании положительных воспоминания о Вене и Будапеште встречаются и критические очерки россиян о своем пребывании в этих городах. Больше всего нареканий вызывает дороговизна Вены и Будапешта, их бюрократическая, холодная неискренность. Некоторые авторы в Вене и Будапеште видели рельефное отражение политических и культурных противоречий империи Габсбургов и, прежде всего, «славянского вопроса». В тоже время следует отметить, что наибольшее количество отрицательных откликов приходится на 60–80-е гг. XIX в., затем их численность начинает резко снижаться.

Вена имела особый, «домашний» характер для россиян. Свое путешествие в Европу они начинали в Вене и в ней они его завершали.

Прибытие в Вену являлось предвкушением встречи с родиной и близкими, что придавало особую русскую сентиментальность «образу Вены». Тоска по Вене присутствует в воспоминаниях многих россиян, и эта грусть перемешивалась с более широким явлением – приятными воспоминаниями о своем пребывании в Европе.

Сконструированный россиянами образ Вены и Будапешта носил многогранный и многоплановый характер, здесь перемешивались представления о блистательной повседневной жизни и идеальном типе европейского города рубежа XIX–XX вв., свободе личности и бедах чело- века «эпохи модерна», поликультурности «нового Вавилона» и национального снобизма.

*Л. П. Кучеренко* (Сыктывкарский ГУ)

### **Античный Рим в «литературе путешествий»: Стендаль и Марк Твен**

Обращение к античному наследию прослеживается на всем пути развития европейской цивилизации. Особенно усилилось увлечение античностью после того, как в XVIII в. в нем были произведены археологические изыскания и к XIX в. античные памятники стали более доступны. Варианты актуализации античности в XIX в. были различны, но особо следует выделить литературное направление. Среди тех писателей, которые посетили Рим в это время, выделяется имя Стендаля. Полвека спустя в Риме побывал Марк Твен. Сравнительный анализ «Прогулок по Риму» Стендаля и «Простаков за границей» Марка Твена показывает, насколько по-разному воспринималась античная культура этими авторами.

«Конечно, побывать в Риме шесть раз – не большая заслуга». Фраза, с которой Стендаль начинает свои «Прогулки», примечательна. Прежде всего, как и предполагал сам автор, это обстоятельство (шестая, по счету, поездка), несомненно, должно было внушить доверие читателю. С другой стороны, указанный факт свидетельствует об особом отношении Стендаля к этому городу. Целью его поездок в Вечный город является детальное знакомство с достопримечательностями города. В общей сложности Стендаль провел в Риме почти полгода. Временной фактор в путешествии в Рим очень важен и сам Стендаль это понимал: «Нужно в течение долгого времени любить и знать Рим». Вторая задача, которая оформилась в процессе самих путешествий, – создание своеобразного путеводителя. Возможны и другие причины появления «Прогулок»: ухудшение к этому времени материального положения Стендаля и неудовлетворенность тем, что не весь наработанный материал по Риму попал в первую книгу об Италии.

Стендаль, насколько позволял уровень науки об античности того времени, знал историю древнего Рима. Он достаточно точен в описании увиденного как с точки зрения архитектуры, так и исторических комментариев. В составленный им реестр вошло все то, что предлагается

современному туристу. Историю Рима Стендаль воспроизводит на основе сочинений античных авторов. Он часто упоминает Тита Ливия, Дионисия Галикарнасского, Светония, ссылается на Флора, письма Цицерона. Стендаль знаком с трудами современных ему авторов, в частности, ссылаясь на г-на Нибби, он характеризует его как одного «из самых рассудительных римских археологов» и считает, что благодаря ему и другим ученым, «логика сделала большие успехи». Обращение как к первоисточникам, так и научным трудам современников является свидетельством великолепной образованности Стендаля. Вместе с тем, Стендаль весьма критически настроен не только в отношении письменных свидетельств по древнейшей истории Рима, но и по отношению к историкам нового времени. Помогает Стендалю в воспроизведении античного Рима также знание исторической живописи.

Стендаль разработал собственную методику знакомства с достопримечательностями, которая включает ряд принципов: предварительное посещение музеев у себя на родине, составление планов экскурсий, с учетом желания осматривать то, что «*хочется видеть сегодня*», особенности психологического склада характера («меланхолическая душа»), внимание к «мелким подробностям», обсуждение по вечерам увиденного, использование карты города. В то же время он предостерегает от «пресыщения увиденным». Цель всего этого – осознание исторического значения античных памятников.

Стендаль не просто созерцатель. Он постоянно ищет объяснение тому или иному явлению римской истории и чаще всего приходит к верным наблюдениям и выводам. Он подмечает, что «патриции, располагая некоторым досугом и деньгами, начали строить храмы, но не пожелали заводить жрецов». Или, говоря о триумфах, заключает, что благодаря им «была искусно привита римскому государству основная особенность представительной системы – *общественное мнение*». Интересные замечания Стендаль высказывает по поводу утилитарности римлян: «Благодаря голоду и войнам в первые века республики думали только о *полезном*. Прекрасное появилось одновременно с *развращенностью* богатого класса». Стендаль обращает внимание и на труднейшую, по его мнению, проблему освобождения памятников от земляного покрова.

На первый взгляд, Марк Твен увидел все то же самое. Панорама Рима, которую автор назвал «самой прославленной в истории Европы», открылась ему с высоты купола св. Петра. Он перечисляет наиболее известные строения Вечного города. Похвально, что он ориентируется как в топографии античного Рима, так и в наиболее ранних легендах, которые сопутствовали становлению города. Если общий ход истории Марк Твен представляет, в основном, верно, то его познания в области более специальных сюжетов вызывают сомнения. В частности, описывая водопровод и Аппиеву дорогу, он допускает существенные хронологические погрешности. Далее автор обращает свой взор к Колизею и посвящает несколько страниц своего повествования этой визитной карточке Рима. В описании Колизея столько иронии (чего только стоит эпитет «шляпная картонка!»),

что трудно определить отношение автора к этому историческому памятнику. Справедливости ради, следует сказать, что он все же отдает должное Колизею, называя его *«царем всех европейских развалин»*, но даже и в этом утверждении чувствуется насмешка автора.

Несмотря на нелюбимые в некоторых случаях выпады автора, мы должны отдать должное американскому классику, на долю которого выпала задача одним из первых познакомить «новый» свет с античным наследием. В отличие от французского писателя он не получил необходимого для выполнения этой миссии классического образования. В силу этого, его видение Рима во многом зависело от «невежественных гидов» того времени, а интерпретация увиденного определялась задачами, стоявшими перед ним как перед журналистом, к тому же стремившемуся «завоевать место под солнцем».

Таким образом, анализ этих произведений подтверждает характерный для XIX в. латентный, первичный уровень рецепции античного наследия, для которого свойственно лишь усвоение имеющихся античных образцов и буквальное воспроизведение античных сюжетов. Но если Марк Твен так и остается на этом уровне, то Стендаль делает еще один шаг в познании античности: он не просто воспроизводит античные памятники, а моделирует события, исходя из исторического контекста. В целом, значение литературно оформленных «путевых заметок» того и другого автора определяется их вкладом в формирование античного субстрата в социокультурной практике нового времени.

*А. В. Корневский*

(Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)

**О Транссибе, Москве, русском «Нет!»  
и «квинтэссенции византийского духа»  
(путевые заметки А. Дж. Тойнби о России)**

Травелог – чрезвычайно емкая и выразительная форма ментально- картографирования «чужого» (а через соотнесение с ним – и «своего») культурного пространства. Именно поэтому произведения данного жанра являются первостепенными по важности источниками для исследования ментальности, этоса, идентичности и социокультурных стереотипов. Однако в том случае, когда путешественник оказывается одновременно ученым, да при этом еще и обладает литературным даром, позволяющим облечь плоды наблюдений в яркие образы, емкие метафоры и точные дефиниции, травелог обретает не только источниковедческое, но и эвристическое значение, превращается из «сырья» для теоретизирования в его инструмент. Ярким примером такого совпадения позиций наблюдательного странника, пронизательного мыслителя и талантливой рассказчика является классик «цивилизационного подхода», один из самых противоречивых историков и философов XX столетия А. Дж. Тойнби. Еще в студенческие годы он пришел к убеж-

дению, что нельзя понять прошлое, не посетив те места, которым посвящены его штудии. Этому правилу Тойнби стремился следовать всю жизнь: ему удалось изездить все континенты и даже совершить кругосветное путешествие, и описания этих вояжей составляют значительную часть творческого наследия мыслителя.

Масштабный тур предшествовал и появлению «Постижения истории» – главного труда Тойнби. Замысел этой философско-исторической саги созрел у него еще в 1920 г., однако Тойнби осознавал, что для ее написания ему явно не хватает личных впечатлений. К счастью, в 1929 г. подвернулась возможность принять участие в конференции Института тихоокеанских отношений в Киото, откуда Тойнби решил возвращаться не самолетом через Америку, как все его коллеги, а поездом, через Россию, внимание к которой проявилось еще в его книге 1915 г. «Национальность и война», в которой явно ощутим русофильский настрой.

Однако столкновение с российской реальностью в ходе поездки нанесло тяжкий удар по устоявшимся представлениям мыслителя. Причем сам характер обрушившихся на него «испытаний» может показаться комически несущественным в сопоставлении с трагизмом их восприятия британским путешественником и философско-историческим масштабом сделанных им выводов. По сути, это все то, что можно отнести к разряду «бытовых неурядиц»: исчезновение вагона-ресторана, многочасовые опоздания поезда и поломки, отсутствие супа в буфете, подселение в купе к иностранцам русских пассажиров, источавших запах немытого тела («священное благоухание Святой Руси»), ночное плутание по Москве в поисках гостиницы...

Но еще больше Тойнби был потрясен не самими этими неурядицами, а реакцией русских – проводников, буфетчиков, швейцаров, должностных лиц – на робкие попытки иностранца выяснить, каковы причины возникающих неудобств и каким образом можно их устранить. И в этой реакции ему открылось предельно емкое выражение русского национального характера, более того – маркирующий признак цивилизационной принадлежности России. Всякий раз, спрашивая, будет ли прицеплен к составу вагон-ресторан, почему в буфете нет горячего супа, есть ли места в гостинице, Тойнби слышал один и тот же краткий и выразительный ответ: «Нет!». Причем то, как это произносилось, побуждало его назвать данную реакцию не словом, а *жестом*, в совершение которого вовлечено все тело отвечающего: «вскинутые брови, опущенные углы рта, свисшие плечи, слегка согнутые в коленях ноги. И далее Тойнби предпринимает «дешифровку» семантики этого «жеста» в выражениях, которые впоследствии с незначительными вариациями будет воспроизводиться на многих страницах «Постижения истории» и других работ, посвященных России и Византийской цивилизации: «Это – квинтэссенция византийского духа – духа пораженчества, приправленного злорадством, когда удастся лицезреть неудачи франкского варвара: “Быть может, это вразумит вас – вас, невежественные, нечестивые, неугомонные франки, ропщущие на Бога и Человека,

что обетования исполнятся, надежды сбудутся и все свершится, как предначертано. Возможно, это преподаст вам урок того, что́ есть жизнь, подобная сонму святых, угодных Богу”. Именно эту неприязненность передает сей архивизантский жест» (Toynbee A. J. A Journey to China, or the Things which Are Seen. L., 1931. P. 301-302).

Глубоко символично, что все параллели и аналогии, которые использует Тойнби в своем описании путешествия по России, в полном соответствии с вынесенным вердиктом, связаны с Ближним Востоком и Балканами. Однако, указывая на византийское первородство России, Тойнби намеренно подчеркивает различия в культуре, видя в них признак огрубления исходных первообразов. С нескрываемой антипатией пишет он о восточной «экзотичности» Москвы. Говоря о кремлевских церквях, Тойнби подчеркивает «уродливость» и «вымученность» их форм, а Храм Василия Блаженного просто вызывает у него отвращение. И в этом культурно-историческом контексте приход к власти большевиков видится ему совершенно закономерным.

А. Дж. Тойнби был не первым и не последним вояжером, содействовавшим «ориентализации» образа России в глазах Запада. Но, во-первых, в отличие от маркиза де Кюстина или Р. Капусцинского, изначально не испытывавших к России никаких симпатий, его позиция стала *результатом* русского турне, а во-вторых, далеко не все «клеветники России» отличались такой писательской продуктивностью и влиянием на общественное мнение. В послевоенный период, когда Тойнби, действительно стал “world figure”, и его книги издавались многотысячными тиражами, трактовка русской истории, берущая начало в травелоге 1930 года, стала на Западе едва ли не общепринятым мнением, и, в общем-то, остается таковым по сию пору.